

УДК 82.09 (575.2) (04)

ГОГОЛЬ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Н.М. Шевченко

Рассматривается отношение М. Цветаевой к творчеству Н.В. Гоголя, который был для нее примером писателя и человека.

Ключевые слова: Н. Гоголь; М. Цветаева; искусство; творчество.

Н.В. Гоголь в творчестве М. Цветаевой прекрасно обходится без имени. Он один и неповторим: навсегда останется ироническим повествователем, замечающим все трагические странности русской жизни: и надпись “Иностранец Василий Федоров”, и “фельдгегеря с усами в аршин”, и жителей города NN, и слоеный пирожок, “нарочно сберегаемый для проезжающих в течение нескольких недель”, которым угощают Чичикова. Мы видим и чувствуем все, что показывает наш насмешливый автор. Гоголь отражал пороки в надежде, что русский человек поймет и серьезно задумается над подобными явлениями, но мы продолжаем смеяться над тем, над чем другие плачут.

Гоголя многие не понимали, а некоторые считали сумасшедшим. И все это дело рук нечистоплотной критики: “О каждом поэте идут легенды, и слагают их все те же зависть и злословие”¹. Но фактор времени обладает одним поразительным свойством – ставить все на свои места, вносить изменения в минувшую историю, в официальные мнения, оценки, касающиеся тех или иных личностей, тех или иных событий. Особенно в судьбах писателей и поэтов закономерность времени выступает со всей последовательностью и строгостью. Суд потомков заключает в себе новую ступень духовного опыта поколений, потребность новых критериев и оценок, необходимых для осмысления новых векторов бытия. “Совпасть с этим внутренним судом вещи над собою, опередить, в слухе, современников на сто, а то и на триста лет – вот задача критика, выполняемая только при наличии *дара*”.

С особенным чувством гордости М. Цветаева относилась к творчеству Гоголя, у нее осо-

бенное отношение к критикам и критике: “Не вправе судить поэта тот, кто не читал каждой его строки”. Разговаривая с критиками, она не защищает себя, она отстаивает Имена. Прочитав в “Звене” за 1925 год “Литературные беседы” Г. Адамовича о Гоголе: “Это решительно возвышает их (Пушкина и Толстого) над Достоевским, Тютчевым, даже над Гоголем, у которого есть что-то ”небожественное” в его искусстве и который поэту так ужасно иногда фальшивит. Разве Толстой написал бы “Тараса Бульбу”?

...Он (Толстой) честен той высшей честностью, без которой самые исключительные, даже гоголевские силы создают в искусстве только прах”, – Цветаева возмутилась.

В ответ на рецензию Г. Адамовича она пишет эссе “Искусство при свете совести”, посвященное Гоголю: “Один проснулся. Востроносый, восковолицый человек, жегший в камине шереметевского дома рукопись. Вторую часть “Мертвых душ”.

Не ввести в соблазн. Пуще чем средневековое – *собственноручное* предание творения огню. Тот само-суд, о котором говорю, что он – единственный суд.

(Позор и провал Инквизиции в том, что она сама жгла, а не доводила до сожжения – жгла рукопись, когда нужно было прожечь душу.)

– Но Гоголь тогда уже был сумасшедшим.

Сумасшедший – тот, кто сжигает храм (которого не строил), чтобы прославиться. Гоголь, сжигая дело своих рук, и свою славу жег.

И вспоминается мне слово одного сапожника (1920 г. Москва) – тот случай сапожника, когда он поистине выше художника.

– Не мы с вами, М<арина> И<вановна>, сумасшедшие, а они недошедшие.

Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долгодлетья проповедь Толстого.

¹ *Цветаева М.* Собр. соч.: В 7 т. – М.: Эллис Лак, 1994.

Потому что здесь дело, наглядное дело рук, то движение руки, которого мы все жаждем и которого не перевесит ни одно "душевное движение".

Может быть, мы бы второй частью "Мертвых душ" и не соблазнились. Достоверно – им бы радовались. Но наша *та* бы радость им ничто перед нашей этой радостью Гоголю, который из любви к нашим живым душам свои Мертвые – сжег. На огне собственной совести.

Те были написаны чернилами.

Эти – в нас – огнем".

Чувство ответственности за русскую культуру и русскую литературу заставляет Цветаеву кричать: "Художник должен быть судом либо товарищеским, либо верховным, – собратьями по ремеслу или Богом. Только им да Богу известно, что значит творить мир тот в мирах сих".

У нее высока планка самооценки: "Никакая любовь не может погасить во мне костра справедливости, в иные времена кончившегося бы – иным костром!".

Рассуждая об искусстве, она напрямую обращается к своему читателю в надежде, что ее поймут: "Искусство свято", "святое искусство" – как ни обще это место, есть же у него какой-то смысл, и один на тысячу думает же о том, что говорит, и говорит же то, что думает.

К этому одному на тысячу, сознательно утверждающему святость искусства, и обращаясь.

Что такое святость? Святость есть состояние, обратное греху, греха современность не знает, понятие грех современность заменяет понятием вред. Стало быть, о святости искусства у атеиста речи быть не может, он будет говорить либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого – Бог – грех – святость – есть. <...> Искусство есть та же природа. <...> Может быть – искусство есть только ответвление природы (вид ее творчества). Достоверно: произведение искусства есть произведение природы, такое же рожденное, а не сотворенное. <...> В чем отличие художественного произведения от произведения природы, поэмы от дерева? Ни в чем. Какими путями труда и чуда, но оно есть. Есмь! <...> Земля, рождающая, безответственна, а человек, творящий – ответственный. Потому что у земли произрастающей, одна воля: к произращению, у человека же должна быть воля к произращению доброго, которое он знает".

С этих позиций Цветаева подходит к творчеству художника. Личной самооценкой (в русской

литературе) она ставит на одну ступень только Пушкина и Гоголя, высоко поднимая над другими, посвящая им лучшие поэтические и прозаические строки, называя Гоголя Чародеем:

Вам сердце рвет тоска, сомненья в лучшем сея.

– "Брось камнем, не щади! Я жду, больней ужаль!"

Нет, ненавистна мне надменность фарисея,
Я грешников люблю, и мне Вас только жаль.

Стенами темных слов, растущими во мраке,
Нас, нет, – не разлучить! К замкам найдем ключи

И смело подадим таинственные знаки
Друг другу мы, когда задремлет все в ночи.

Свободный и один, вдали от тесных рамок
Вы вновь вернетесь к нам с богатою ладьей,
И из воздушных строк возникнет стройный замок,

И ахнет тот, кто смел поэту быть судьей!

– "Погрешности прощать прекрасно, да, но эту –

Нельзя: культура, честь, порядочность... О нет",

– Пусть это скажут все. Я не судья поэту,
И можно все простить за плачущий сонет.

Цветаевой милы малейшие воспоминания самых незначительных подмеченных Гоголем деталей.

Чай кончен. Удлинились тени,
И домурлыкал самовар.
Скорей на свежий, на весенний
Тверской бульвар!

Нам так довольно о Бодлере!
Пусть ветер веет нам в лицо!

Поют по-гоголевски двери,
Скрипит крыльцо... .

Описывая послереволюционную Москву, она с ужасом восклицает: "Господи, сколько сейчас в России Ноздревых (кто кого и как ошельмовывает! кто чего на что не выменивает!) – Коробочек ("а почему сейчас в городе мертвые души?", "а почему сейчас на рынке дамские манекены?": я, например) – Маниловых ("Храм Дружбы", – "Дом Счастливой Марии") – Чичиковых (природный спекулянт!). А Гоголя нет. Лучше бы наоборот".

В статье "Поэты с историей и поэты без истории" Марина Ивановна, пытаясь ответить на

поставленный вопрос: «Что такое “я” поэта?» – отвечает: «Словарь не есть простой распорядок слов; пример: “гоголевский период”, который мы узнаем прежде, чем уловим смысл этих двух слов.<...> По видимости – это “я” человеческое, выраженное в строе речи. <...> “Я” поэта есть преданность его души неким снам, посещение поэтом неких снов, тайный источник не воли его, а всей его природы. <...> Человеческое “я” становится “я” страны – народа – данного континента – столетия – тысячелетия – небесного свода...».

Чувственная натура Цветаевой смогла оценить природу живописания чарующей природы Гоголя, “где вдруг разлилась и засверкала всеми красками его языковая палитра. <...> это не “чуден Днепр при тихой погоде”, – что с самого начала очаровывает нас словами, звучанием слов, слышится нам шумом самого Днепра вопреки спокойствия его течения, о котором нам говорят эти слова и ради чего они написаны. Это не колдовская сила слова над нами. (Гоголевский Днепр, как и лермонтовское “Уж над горой дремучею...”, – формы чистейшей поэтической магии, это волшебство поэзии в чистом виде, где ни одна вещь не похожа на себя, где, согласно народной поговорке, и вода не вода, и земля не земля”, где *магический Днепр, магический Тифлис*, где слова Тифлис и Днепр приобретают новую, необычную наполненность: наполненность не бою, а зачарованностью).

О какой бы высокой материи ни рассуждала Цветаева, она сравнивает только Великих: “Проза Пушкина – проза поэта. Стихи Гоголя – стихи прозаика <...>: нет стихов без чар (не очарованы, а *чарованы*). <...>: чары беру не как прикраску, а как основу, как одну из первозданных сил, силу природы. Нет чар – нет стихов, есть рифмованные строки <...>. Чары как исток прозаического дарования – Гоголь (полюс Толстого!)”.

Не удивляйтесь, что Цветаева причисляет Гоголя к поэтам, ее формула: “Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком <...>. Поэт, наконец, заговорил на *нашем* языке, на котором говорим или можем гово-

рить мы все” – все раскрывает и ставит на свои места.

9 апреля 1934 г. она пишет А.А. Тесковой: “Читаю сейчас замечательного вересаевского Гоголя – *Гоголь в жизни*, – только документы современников, живые голоса. Огромный, исчерпывающий, трагический том. Если бы я выиграла в Национальной Лотерее хотя бы 200 франков (билета у меня нет!), то мгновенно подарила бы Вам эту книгу. Есть ли она в Праге? Такую бы хорошо увезти на лето, на все три летних месяца, прожить их с Гоголем...”.

Гоголь для Цветаевой – это искусство и культура, которые навсегда останутся гоголевскими. Она считает, что настоящий художник обладает еще и ясным взглядом на других: “Пушкин не мог не создать того, что создал, и написать то, что он не написал. И никто из нас не жалеет, что он отказался в пользу Гоголя от замысла “Мертвых душ”, которые находились на гоголевской генеральной линии <...>. У поэта, приступающего к прозе, та школа стихотворного абсолюта, которой нет у прозаика, приступившего к стихам”.

Провозглашая Гоголя своим современником, Цветаева утверждает: “Быть современным – творить свое время, а не отражать его. Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит”. “<...> Не в коня гоголевский смех! (Поэт – сам событие своего времени и всякий ответ его на это самособытие, всякий самоответ будет ответ сразу на все) – современность поэта настолько не в содержании (что ты этим хотел сказать?), – а в том, что я этим *сделал*”. Самое главное – гоголевский “смех сквозь слезы” возвели в ранг национальной особенности, основной черты характера русского народа потому, что нам до сих пор есть над чем смеяться до слез.

Для Цветаевой Гоголь был примером и в жизни, и в творчестве. Ее восхищала точность словесных характеристик и слов-образцов, несущих в себе след семантических связей и смыслов, эффект игры в слова с иронической подоплекой о странностях окружающего мира. Эта особенность и легла в основу определения языковой личности Гоголя.